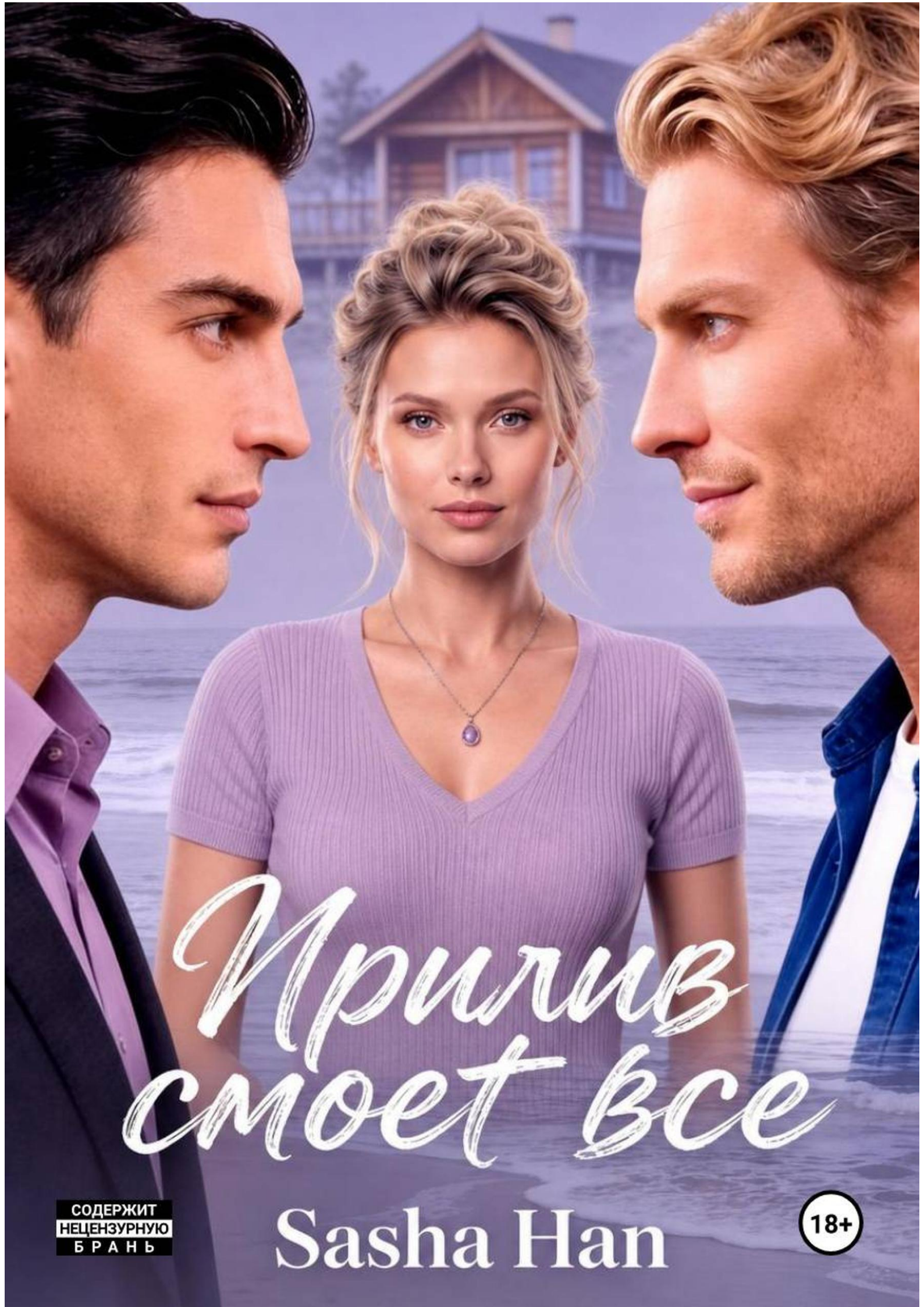




Прилив смел всего

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

Sasha Han

18+

Sasha Han

Прилив смоег все

«Автор»

2026

Han S.

Прилив смывает все / S. Han — «Автор», 2026

Кирилл Астахов, мажор и бывший одноклассник, разрушил жизнь Василисы, выслал фотки ее в обнаженном виде в одних трусиках на его кровати мужу. И как было доказывать, что она ничего не помнит, потому что он подмешал ей что-то в кофе? Однако муж воспользовался этой ситуацией совсем по-другому ...Ему нужна была власть, доминирование и это оказалось великолепным поводом обвинить и "наказать" жену. Когда же Василиса поняла, что она не может дальше жить по таким новым правилам в семье - Кирилл пришел на помощь ...ЭТО ВТОРАЯ КНИГА НАЧАЛО ЧИТАЕМ В "Не в ту же воду"

© Han S., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1.	5
Глава 2.	7
Глава 3.	9
Глава 4.	11
Глава 5.	13
Глава 6.	15
Глава 7.	17
Глава 8.	20
Глава 9.	22
Глава 10.	25
Глава 11.	27
Глава 12.	29
Глава 13.	32
Глава 14.	35
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Sasha Han

Прилив смывает все

Глава 1.

Дамир. От третьего лица.

Дамир почувствовал неладное сразу. Не умом — нутром. Тем самым звериным чутьём, которое не раз спасало его на переговорах, на сделках, в тех тёмных закоулках бизнеса, куда не заглядывает налоговая. Набрал Василису — длинные гудки, семь, восемь, сброс. Набрал снова. Снова гудки. Снова сброс.

Она не отвечала.

Василиса всегда отвечала. Это было правило — негласное, вбитое, впечатанное в неё за восемь лет, как водяной знак в купюру. Она могла быть в ванной, могла купать Тимку, могла стоять в очереди на кассе — но телефон брала. Потому что знала: если не возьмёт — будет разговор. А разговоры с Дамиром, когда он недоволен, — это не разговоры. Это допросы. С интонацией прокурора и глазами следователя.

Она знала. И брала. Всегда.

А сейчас — не брала.

Через полчаса он понял, что дело не в ванной и не в кассе. Через час — что дело вообще не в том, что она занята. Она не отвечала. Целенаправленно. Сознательно.

Он не мог уехать сразу. Контракты, подписание, люди в переговорной, которые ждали его подписи под документом на сорок миллионов. Он сидел в кожаном кресле, вертел в пальцах ручку — «Монблан», подарок партнёра, тяжёлую, с золотым пером — и ставил подписи. Ровные, чёткие, уверенные. Подпись — переворот страницы — подпись. А в голове — одно: она не отвечает. Она не отвечает. Она не отвечает.

Через три часа он переступил порог квартиры.

Их квартиры. Он так считал — их. Потому что Василиса выбирала эти шторы. Василиса расставляла эти вазы. Василиса разглаживала это бирюзовое покрывало каждое утро — двумя ладонями, от центра к краям, с тем сосредоточенным выражением лица, с каким хирург зашивает разрез. Она вкладывала в эту квартиру себя — по кусочку, по детали, по подушке, по свечке на подоконнике. И значит — это их дом. Их жизнь. Их.

Тишина ударила первой. Не та уютная тишина пустой квартиры, когда жена увела ребёнка на площадку и можно полчаса побыть одному. Другая. Мёртвая. Выпотрошенная. Тишина квартиры, из которой ушли — насовсем.

Он прошёл по комнатам — быстро, рвано, как собака, потерявшая след. Спальня — покрывало на месте, подушки ровные, но ящик комода приоткрыт, и внутри — пусто. Там лежало её бельё. Детская — рюкзак с тираннозавром исчез с крючка, полка с игрушками поредела. Прихожая — серая дорожная сумка, та самая, средняя, — не висит на вешалке. И главное — паспорта. Ящик в прихожей, где они лежали — два бордовых прямоугольника, его и Тимкин, — пуст.

Пронзило: Кирилл.

Мысль вошла, как нож, — под рёбра, наискось, до самого позвоночника. Кирилл. Астахов. Одноклассник, щенок, голубоглазый сукин сын, который так удачно для самого Дамира устроил это шоу с фотографиями.

Он сел на кухне. Обхватил голову руками.

Первый порыв — позвонить охране. Водителю. Своим людям, которые за полчаса прочешут весь город, найдут, привезут. Он мог. Он имел ресурсы. Он имел власть — ту, которая покупается деньгами и связями, ту, от которой люди встают, когда он входит, и садятся, когда он разрешает.

Но — нет. Нельзя. Нельзя, чтобы кто-то узнал. Нельзя, чтобы поползло — по офису, по партнёрам, по тому узкому кругу, где репутация стоит дороже активов. «Жена ушла». Два слова, которые в его мире звучат как приговор. Не ей — ему. Потому что если жена ушла — значит, не удержал. А если не удержал жену — удержишь ли контракт? Партнёра? Сделку?

Нет. Сам. Тихо. Без свидетелей.

Тишину взорвал звонок.

Он бы не ответил. Не сейчас — не в этом состоянии, не с этими руками, которые тряслись, как у алкоголика на третий день, не с этим лицом, на котором, он знал, было написано всё. Но на экране высветилось имя, и Дамир ответил — рефлекторно, как отдёргиваешь руку от огня.

Василий Петрович.

Хозяин города. Негласный. Невидимый для тех, кому не надо видеть, — и вездесущий для тех, кому надо знать. Вся таможня — его. Порт — его. Те вопросы, которые не решаются по закону, — решаются одним его звонком. Тогда, на том вечере, где Василиса была восхитительна, и мужчины смотрели на неё так, что у Дамира сводило скулы, — именно тогда началось их сотрудничество. И Дамир знал — где-то глубоко, в том месте, куда не пускал даже себя, — что Василиса была ключиком. Тем самым золотым ключиком, который отпер дверь, за которой стояли настоящие деньги.

— Ну что, Дамирчик, жена сбежала с любовником? — без «здравствуйте», без «добрый день», без предисловий. Голос — спокойный, густой, с ленцой. Голос человека, который знает всё раньше всех и давно перестал этому удивляться.

Дамир оцепенел. Позвоночник — в лёд. Пальцы на телефоне — белые.

— Откуда вы знаете? — вышло хрипло. Сдавленно. Некрасиво. Он ненавидел себя за этот голос — голос человека, которого застали врасплох. Дамир никогда не бывал врасплох. А сейчас — был.

— Ну ты же знаешь, таможня — моя юрисдикция. Они уже пересекли финскую границу. С Астаховым-младшим, — сообщил Василий. Тонем, каким сообщают прогноз погоды. Без нажима, без сочувствия, без издёвки. Просто — факт.

Финская граница. Уже. За три часа, пока он подписывал контракты и крутил в пальцах ручку, она пересекла границу. С Кириллом. С Тимкой. С двумя паспортами в боковом кармане серой дорожной сумки.

— Убью, — вырвалось первое, что поднялось из глубины, — тёмное, горячее, древнее. Не мысль — рефлекс. Самец, у которого увели самку.

— Дамир, спокойно, — Василий даже не повысил голос. — Ты хочешь её вернуть?

Станный вопрос. Нелепый. Как если бы спросили: ты хочешь дышать?

— Я её верну, — ответил Дамир. Без паузы. Без колебания. Как ставят печать на документ — одним движением, раз и навсегда.

— Тогда успокойся. Она будет подавать на развод, так?

— Я не дам ей никакого развода. Заберу сына, — парировал Дамир. И услышал, как Василий коротко хмыкнул — то ли одобрительно, то ли снисходительно.

Глава 2.

Дамир. От третьего лица.

— Ну вот поэтому и сбежала. Угрожал, наверное? Сына забрать? — вопрос повис в трубке, как петля. Василий не спрашивал — он ставил диагноз. Голосом хирурга, который вскрыл брюшную полость и увидел то, что и ожидал увидеть: метастазы. Запущенные, разросшиеся, давно уже неоперабельные.

— Наверное, — признал Дамир. Слово далось тяжело, как камень, застрявший поперёк горла, — слишком большой, чтобы проглотить, слишком острый, чтобы выплюнуть красиво. Он не привык признавать ошибки. Ошибки — это для подрядчиков, которые путают марку бетона. Для секретарш, которые ставят не ту дату на договоре. Для всех, кто ниже, слабее, глупее. Но Василий Петрович не был ниже. Василий Петрович был — над. Как потолок, как небо, как та инстанция, к которой обращаются, только когда всё остальное уже не работает. И врать ему было так же бессмысленно, как врать рентгеновскому аппарату.

— Дамирчик, возьми себя в руки, — отеческий тон, от которого у Дамира свело зубы. Он ненавидел это имя — ненавидел физически, как ненавидят звук ногтя по стеклу, как ненавидят запах палёной пластмассы. «Дамирчик» — это было из детства, из двора, из тех времён, когда его можно было щёлкнуть по носу. Сейчас его не мог щёлкнуть никто. Кроме Василия. Василий — мог. И оба это знали. — Не надо сейчас угрожать. Надо уговаривать. Я помогу. Мы не дадим ей подать заявление.

«Мы не дадим ей».

Три слова. И от них по позвоночнику прошёл разряд — не страх, нет, что-то другое. Что-то похожее на надежду, замешанную на формальдегиде долга, который придётся отдавать. Василий не помогает бескорыстно. Василий вообще ничего не делает бескорыстно — как банкомат не выдаёт деньги без карточки. Каждая услуга — инвестиция. Каждый жест доброй воли — кредит, который рано или поздно предъявят к оплате, и процент будет таким, что захочется не брать. Но сейчас — сейчас Дамиру было всё равно. Сейчас он тонул. А когда тонешь, хватаешься за любую руку. Даже если эта рука потом потребует в ответ твою собственную.

— Я в долгу не останусь, — сказал Дамир. Быстро. Коротко. Деловым тоном — тем, который Василий понимал и ценил, как ювелир ценит чистую огранку: без соплей, без благодарностей, без лишнего блеска. Сделка. Услуга за услугу. Рука за руку. Кость за кость.

— Конечно, Дамир. Конечно, — и в голосе Василия мелькнуло что-то — мимолётное, как тень рыбы под водой — удовлетворение? Одобрение? Коллекционерская радость от нового экспоната? Он оценил. Хватку. Способность держать лицо даже сейчас, когда земля проваливается под ногами. Целеустремлённость — и одновременно гибкость. Умение прогнуться, не сломавшись. То, что надо. Именно такие люди ему были нужны — крепкие, управляемые, с короткой цепью и длинными амбициями.

— Что делать? — коротко спросил Дамир. Без рефлексий, без причитаний. Два слова. Как гвоздь — по шляпку. Он всегда был человеком действия: проблема — решение — исполнение. Как в бизнесе. Как в жизни. Как во всём.

— Твоя задача — успокоиться. И мягко начать уговаривать. Обещай луну с неба, обещай что угодно, но не угрожай. А я займусь тем, чтобы не дать ей подать заявление, — голос Василия был ровным, деловым, с лёгким оттенком скуки человека, который решал подобные задачи десятки раз и давно перестал находить в них что-то, кроме рутины. Чужие жизни были для него — как чужие шахматные партии. Интересно, если сложная позиция. Скучно, если эндшпиль ясен.

— А если она не ответит? — спросил Дамир. И поймал себя на том, что голос дрогнул. Чуть-чуть. На полтона. На ту ничтожную долю секунды, которую обычный человек не уло-

вит, — но Василий уловил. Василий улавливал всё — как паук улавливает вибрацию паутины задолго до того, как увидит муху.

— Не ответит, — согласился он. — Но сообщение прочитает. Голосовое прослушает. Женщины всегда слушают. Даже когда говорят, что не хотят.

— Понял, — коротко. Чётко. Как приказ, принятый к исполнению. Щёлк — и тишина. Без «пока». Без «до свидания». Без «созвонимся». Люди этого уровня не прощаются — они просто перестают говорить.

Дамир опустил телефон. Посмотрел на экран — чёрный, мёртвый, отражающий его лицо. Лицо человека, которого бросили. Бросили — какое мерзкое слово. Мокрое, скользкое, как рыба, выскочившая из рук и шлёпнувшаяся обратно в реку. Он не узнавал это лицо — потому что на нём было написано то, чего Дамир не позволял себе никогда. Растерянность. Неподготовленность. Голый, непричёсанный страх.

Он провёл ладонью по лицу — сверху вниз, медленно, с нажимом, — как стирают мел с доски. И когда рука опустилась — лицо было другим. Спокойным. Собранным. Рабочим. Как экран компьютера после перезагрузки.

Он знал, что делать. Василий сказал — уговаривать. Значит — уговаривать. Обещать. Просить. Если надо — умолять. Дамир никогда не умолял. Никого. Но Дамир никогда и не терял. А сейчас — терял. Всё. Жену, сына, лицо, контроль над единственной территорией, которую считал неприкосновенной. И это было невыносимо. Не потому, что любил, — хотя да, любил, по-своему, как умел, как мог, как умеют любить люди, для которых любовь и власть — синонимы. А потому, что Дамир не отдавал своё. Никогда. Никому. А Василиса — была его. Как квартира. Как машина. Как подпись на контракте. Его.

Он открыл мессенджер. Курсор мигал в пустом поле сообщения — белое поле, пустое, как комната, из которой вынесли мебель. Пальцы зависли над экраном. Он набирал. Стирал. Набирал снова. Буквы ложились криво, непослушно — Дамир, который диктовал контракты на сорок миллионов, не мог написать жене три строчки. Потому что контракт — это про деньги. А это — про то, что болит. А он не умел про то, что болит.

+ + + + + + + + + + + + +

Глава 3.

Василиса.

Кирилл вёл машину спокойно. Так это выглядело — со стороны, из окна встречной машины, для случайного взгляда на перекрёстке. Руки на руле. Глаза на дороге. Спина прямая. Но я видела другое — я видела, как чуть сильнее обычного сжимаются его пальцы на кожаной оплётке, как белеет кожа на костяшках, как напрягается скула — едва заметно, на долю секунды, — когда мимо нас проезжала очередная фура, обдавая машину воздушной волной, от которой ауди вздрагивало, и Тимка на заднем сиденье причмокивал во сне. Кирилл нервничал. Может, не меньше моего. Просто прятал это иначе — не внутрь, как я, а в мышцы, в руль, в скулы.

— Кирилл, извини, что втянула тебя, — сказала я. И только произнесла это вслух, почувствовала всю тяжесть того, что стояло за этими словами. Потому что ярость Дамира — это не крик, не битая посуда, не хлопнувшая дверь. Ярость Дамира — это тихая, методичная, бухгалтерски точная работа по уничтожению. И она выльется не только на меня. Она выльется на Кирилла. Как только Дамир узнает, с кем я. С кем его сын. А он узнает. Он всегда узнаёт — у него такие люди, которые умеют узнавать.

Тяжесть того, что придётся объяснять Тиме, ложилась на плечи отдельным грузом — свинцовым, неподъёмным, с острыми краями. Я не знала, какие слова подобрать. Все слова, которые я прокручивала в голове, звучали одинаково фальшиво, как аккорд на расстроенном пианино. «Папа и мама решили пожить отдельно». «У папы много работы». «Мы с тобой немножко попутешествуем». Враньё, враньё, враньё. А правду — «мама сбежала, потому что папа бил маму ремнём» — шестилетнему мальчику не скажешь.

— Так это же я тебя втянул, а не ты меня, — чуть усмехнулся Кирилл. Но усмешка была тусклая, как лампочка на последнем издыхании — ещё светит, но уже без тепла. Горечь. Вот что в ней было. Привкус горечи, как от кофе, который передержали на огне. Он тоже думал о последствиях. И, может быть, уже не был рад, что ввязался.

— Да нет, это я, — признала я. Потому что это была правда. Я попросила его выудить признание из Алины. Я — попросила. А это потянуло за собой всё остальное, как нитка вытягивает клубок: его поступок, фотографии, Дамира с ремнём, бегство, эту дорогу, этот страх, эту Финляндию за окном, по которой мы неслись, как по чужой жизни, надеясь, что она нас примет.

Боже — а что он с ней делал? С Алиной?

Мне даже думать не хотелось в эту сторону. Мысль подползала — осторожно, как холодный сквозняк из-под двери, — и я отпихивала её обратно. Потому что если впустить — если начать представлять, если дорисовать то, что не договорила Алина, — то это будет уже не про неё. Это будет про меня. Про мои ноги на его плечах, про его пальцы в моих волосах, про «шлюшка», произнесённое на выдохе, как ласковое слово. Нет. Не сейчас.

Кирилл сделал логичный вывод. Он услышал от Алины то, что услышал, — и понял, что всё это может касаться меня напрямую. Не только измена. Не только другая женщина. А — то, что стоит за закрытой дверью спальни, когда ребёнок внизу смотрит мультик, чтобы не было так тихо.

А кому скажете — не изменяет? Большинство... Да, я понимала: успех влечёт за собой вседозволенность, как тяга в камине влечёт за собой искры. Хотя... кому-то никакого успеха не надо, чтобы не пропускать ни одной юбки. Или через одну. Без разбора.

А сколько их было у Дамира? Таких Алин? Имена, лица, тела — череда, которую я никогда не узнаю целиком. Мне достался только фрагмент. Осколок. Кусок мозаики, от которого весь рисунок не складывается, но уже видно, что картинка — страшная.

Нет. Я не сразу стала замечать. Первые годы — вообще нет. Потом — как тень на периферии зрения: вроде мелькнуло, а повернёшь голову — ничего. Только последние два года. И только последний год звоночки стали такими, что их уже нельзя было списать на паранойю: поздние приходы, рубашки с чужим запахом — нет, не духов, чего-то другого, чего-то тёплого, ванильного, молодого, — и редкий секс между нами. Не потому что не хотел. А потому что уже получал где-то ещё. Это были уже конкретные звоночки. Колокольный звон.

БДСМ-наклонности, проявившиеся после ситуации с Кириллом, привели меня сначала в шок. Оцепенение. Как будто ты стояла на льду, и лёд треснул, и ты проваливаешься — медленно, с хрустом, — а вода такая холодная, что тело отказывается понимать, что происходит. Потом я думала... А что я думала? Он обозначил сразу: я — его «рабыня». Произнёс это слово буднично, без нажима, как говорят «пройди в комнату» или «закрой дверь». И тогда же, видимо, порвал с Алиной. Заменял. Зачем тратить на постороннюю, если можно использовать ту, что уже дома, уже в кровати, уже никуда не денется?

Но это всё равно было больно. Увидеть. Убедиться. Получить подтверждение того, что все мои подозрения — не фантазия тревожной жены, а протокол вскрытия, где каждая строчка — факт. Он уговаривал: всё кончено с ней, у нас всё хорошо. Слова лились мягко, как тёплый воск, — но воск застывает, а под ним — ожог.

Мне уже было совсем не хорошо. Я начала всерьёз думать о разводе. Но не знала — как. Три буквы, за которыми стояла стена. Он всегда угрожал, что заберёт Тиму, если я подам. Всегда. Эта угроза висела надо мной, как лампа над операционным столом — яркая, холодная, беспощадная. И я лежала на этом столе. И не могла пошевелиться.

Поэтому я схватилась за протянутую руку Кирилла. Уже не думая, что будет дальше. Просто мне надо было на кого-то опереться. Хоть на кого-то. Хоть на стену, хоть на столб, хоть на человека, который когда-то подсыпал мне что-то в кофе и сфотографировал голую. Даже на него. Потому что выбор был прост: или Кирилл — или никто.

Фотографии меня в одних кружевных трусиках на его кровати дали Дамиру карт-бланш. Индальгенцию. Бессрочный абонемент на то, что меня можно «наказывать». И он использовал его по максимуму — жадно, с аппетитом, как человек, который наконец получил разрешение быть тем, кем хотел быть всегда.

Глава 4.

— Вась, всё в порядке, мы справимся, — его рука мягко легла на моё колено. Тепло. Через ткань джинсов — тепло его ладони, широкой, сухой, с длинными пальцами. Я почувствовала это тепло — и убрала его руку. Аккуратно. Не резко. Как убирают вазу с края стола — не потому что не нравится, а потому что боишься разбить.

— Кирилл, не надо.

— Извини, — он вернул руку на руль. Быстро. Послушно. Без обиды в голосе. И от этой послушности — от того, что он услышал моё «не надо» и принял его с первого раза, без уговоров, без «ну почему», без «ты что» — у меня что-то сдвинулось внутри. Маленький, едва уловимый сдвиг. Как камешек, который чуть повернулся в стене плотины.

Мы долго молчали. За окном мелькали финские сосны — ровные, как свечи, бесконечные, как очередь в терпении. Тимка посапывал на заднем сиденье, и его дыхание — лёгкое, присвистывающее, детское — было единственным звуком, который я хотела слышать. Всё остальное — шорох шин, гудение встречных машин, бормотание навигатора — было лишним, внешним, чужим.

— Давай заедем в парк на берегу в Котке, ты там была? — предложил Кирилл.

Я видела, что он устал. Глаза чуть сузились, и складка между бровями стала глубже, и пальцы на руле уже не сжимали — просто лежали, обессиленные. Тимка на заднем сиденье начинал ёрзать, подтягивать ноги, хныкать тихо, как котёнок, — первые признаки того, что шестилетнему организму нужен выход.

— Да, конечно, давай, — согласилась я. Размяться. Продышаться. Выпустить из лёгких этот спёртый воздух машины, пропитанный запахом кожаного салона, моей тревогой и его невысказанными вопросами.

— Тимка там ножки помочит в воде, — улыбнулся Кирилл.

— Ну да, — я посмотрела на него чуть странно. И сама не поняла почему. А потом поняла. Потому что вспомнила. Тогда, когда мы были на Финском заливе — почти сразу после той злополучной вечеринки в его доме, — Тимка тоже мочил ножки в воде. И потом заболел. Не сразу — через два дня, — но всё-таки. Температура, сопли, красное горлышко, и я не спала трое суток, прижимая его горячее тельце к себе, и думала: всё из-за меня. Всё из-за той ночи. Всё из-за фотографий, из-за Кирилла, из-за ремня, — как будто болезнь ребёнка была наказанием. За что? За то, что мне подсыпали что-то в кофе?

— Вась, что? — услышала я в его голосе лёгкое, едва заметное раздражение от усталости. Тонкое, как царапина на стекле. Он не понимал, что именно меня расстроило. А на моём лице — было расстройство? Я не знала. Я давно перестала контролировать своё лицо.

Я точно провалилась в эти воспоминания. «После». После той ночи. Как Дамир ударил меня ремнём — три раза, со всей силы, тем самым ремнём из миланского бутика, который я сама ему выбирала. Как был секс — после моей «провинности». Как он назвал меня «шлюха». Как от этого слова что-то внутри хрустнуло, тонко, как стекло ёлочной игрушки, и больше уже не склеилось.

— Всё в порядке, конечно, я просто задумалась, — быстро объяснила я. Стандартная фраза. Защитный экран. «Всё в порядке» — универсальный ответ женщины, у которой ничего не в порядке. Я произносила эти слова так часто, что они уже не имели значения — просто звук, просто вибрация голосовых связок, просто сотрясение воздуха.

Мы запарковались около прибрежного парка. Мы здесь когда-то были — проездом, с Дамиром. Тогда был ноябрь, и ветер резал лицо, и Тимка прятался у меня за спиной, и Дамир стоял чуть в стороне, разговаривая по телефону, — как всегда, чуть в стороне, чуть по телефону, чуть не с нами. Сейчас был июнь. Деревья стояли тяжёлые, густые, полные зелени. Пахло

нагретой хвоей и чем-то солоноватым, морским, вольным. Ветер был тёплым, ленивым, и нёс запахи водорослей и чьего-то далёкого костра.

Кирилл сам вытащил Тиму из машины — на руках, осторожно, как берут хрупкое. Тимка обхватил его шею, ещё сонный, ещё тёплый, с отпечатком ремня безопасности на щеке, — и я увидела, как Кирилл чуть наклонил голову, и его щека коснулась Тимкиной макушки, и он задержался так на секунду. Одну секунду. Но я заметила.

— Ну что, готов? — весело спросил он.

— К чему? — удивился мой мальчик. Глаза — круглые, серые, с мутной поволокой сна.

— Ну как — проверить, есть ли тут чайки! — быстро придумал Кирилл. На ходу. Из воздуха. Из ничего. Как фокусник достаёт кролика — не потому что умеет, а потому что ребёнок смотрит.

Тимка захлопал глазами. Ну как... а куда бы они могли деться? Чайки-то? Они же всегда тут. Они же — часть пейзажа, как камни, как вода, как небо.

Но ответил бодро:

— Да!

Мы первым делом, конечно, посетили заведение для неотложных нужд в начале парка. А потом:

— Потом в ресторан, уже проголодались? — повернулся Кирилл ко мне, опять улыбаясь. Но улыбка была — другая. Не та, университетская, с прищуром, с расчётом, с осознанием собственной неотразимости. Нет. Эта была — несмелая. Неловкая. Как будто он разучился улыбаться по-настоящему и теперь заново подбирал мышцы. Совсем не так, как когда-то, — когда казалось, что он абсолютно уверен в себе и непрерывно играет на публику, меняя маски, пробуя — какая произведёт ещё больший эффект.

— Кирилл, давай я хотя бы машину заправлю, — предложила я.

— Вась, ты что? Ты меня за кого принимаешь? — он буквально надул губы, по-детски, обиженно, и от этого его лицо стало таким... незащищённым, что у меня что-то дрогнуло внутри. — Конечно нет.

Мы чуть прошлись по парку, и Кирилл сам начал играть с Тимой. Он не умел. Это было видно сразу — в том, как он неловко приседал, как нелепо взмахивал руками, изображая чайку, как его длинные ноги путались в попытке бежать вприпрыжку. Он не умел с детьми — как не умеют люди, у которых нет своих. Но старался. И в этом старании — неуклюжем, смешном, трогательном — было что-то настоящее. Тимка развеселился, и они побежали по кромке моря, сняв сандалии, и я слышала, как Тимка визжит от холодной воды, и как Кирилл охает, и как чайки — найденные, обнаруженные, существующие! — кричат над ними, словно комментируя всё это безобразие.

А я открыла наконец телефон.

Глава 5.

Да... я говорила себе, что не буду. Не буду смотреть. Не буду читать. Поставила на беззвучный. Но... Дамир писал. И даже выслал голосовые. Обычно он так не делал. Если писал — коротко, сухо, по делу. «Буду в 9». «Купи молоко». «Тима заснул?» Телеграфный стиль. Минимум букв, максимум контроля.

А тут...

«Василиса, прости, я понимаю, что виноват, прости, вернись пожалуйста побыстрее домой».

Я перечитала три раза. Четыре. Пять. Буквы на экране не менялись, но с каждым разом казались всё более чужими, как слово, которое повторяешь до тех пор, пока оно не теряет смысл. «Прости». Он написал «прости». Дамир. Который никогда не просил прощения. Который считал извинения — слабостью. Который после ремня предлагал кальян, а не прощение. Эти неожиданно простые, но такие несвойственные ему слова сбивали с толку, как пощёчина наотмашь — только наоборот. Пощёчина нежностью. И никаких упоминаний про Тиму. Никаких «заберу». Никаких угроз.

Это вообще он пишет?

Потом — голосовое.

«Прости, но я вынужден был заблокировать твою карточку. Позвони мне. Я не буду тебя упрекать. Заберу откуда угодно. Просто позвони».

Его голос. Глухой. Надтреснутый. Как будто кто-то взял его обычный голос — уверенный, стальной, с командирскими нотками — и согнул пополам, и на сгибе появилась трещина, и через эту трещину сочилось что-то, чего я раньше не слышала. Я понимала, что ему тяжело дался этот текст. Каждое слово — как камень, поднятый на гору. Для Дамира попросить — тяжелее, чем приказать. Для Дамира признать вину — большее, чем ударить.

Но даже не верила, что я это слышу.

Однако...

«Я вынужден был заблокировать твою карточку».

Вот оно. Вот она — вторая строчка мелким шрифтом. Прости — но я отрезал тебе кислород. Люблю — но перекрыл воздух. Как всегда. Одной рукой гладит, другой — душит. И обе руки — его.

А я хотела заправить машину Кирилла. Какой бред. Конечно, я не могла не знать, что он заблокирует карту. Это было предсказуемо, как рассвет, как отлив, как его ярость после моего бегства. Первое, что делает мужчина, теряющий контроль, — перекрывает деньги. Вентиль. Щёлк. Ты — никуда.

Но у меня был счёт. Здесь, в Финляндии. На моё имя. Открытый тихо, тайком, как контрабанда, — в одну из поездок, когда Дамир был на переговорах и не считал мои минуты. Там немного... Очень немного. На адвоката, наверное, не хватит. Но хоть что-то. Хоть какой-то воздух. Хоть щёлочка в стене.

А потом — попрошу у Кирилла. До развода. Ну мне же должно что-то достаться от нашей совместной жизни? От дома? От восьми лет, которые я вложила в этого человека, как монеты в автомат, — и автомат ничего не выдал, только зажевал карту?

Я понимала, что у Кирилла может быть меньше денег, чем казалось. Фасад и содержание — не всегда одно и то же. Но дом — настоящий. Машина — настоящая. Что-то у него есть. Должно быть.

— Кирилл, извини, моя карточка заблокирована, но у меня есть счёт здесь, в банке, там есть деньги, — быстро объяснила я, как только он подошёл обратно ко мне со смеющимся,

мокрым, растрёпанным Тимой. Тимкины босые ступни были в песке, и он прыгал, оставляя мокрые следы на тёплых камнях.

— Вась, ну прекрати, — он взял меня двумя руками за плечи. Мягко. Ладони — широкие, тёплые, с длинными пальцами. Не как у Дамира, чья хватка всегда была стальной, замковой, — нет. Кирилл держал — как поддерживают. Как подставляют ладонь, чтобы не упало. — У меня есть деньги, — он смотрел мне в глаза, и в его взгляде было что-то... Вопрос? Просьба? Попытка понять — как я? Где я? Жива ли я внутри всей этой катастрофы?

Но сейчас — тем более при Тиме — совсем не хотелось откровенничать. Ни о чём предметном. Ни о чём, что касалось Дамира. Тима стоял рядом и тянул меня за руку — «Мама, пойдём, там ещё чайки, большие!» — и его голос, звонкий, чистый, не знающий ни про какие карточки и блокировки, был единственным звуком, который имел право существовать в этот момент.

Ещё полчаса мы ходили по дорожкам. Тимка собирал камешки — плоские, гладкие, тёплые от солнца — и складывал их мне в карман, и от их тяжести карман оттягивался, и это было — странно — приятно. Тяжесть камешков. Такая конкретная. Такая честная. Не та тяжесть, что внутри. Другая.

Потом мы сели обратно в машину и поехали в Хельсинки.

— А папа к нам скоро приедет? — неожиданно спросил Тима с заднего сиденья.

Я вздрогнула. Готовилась — но всё равно вздрогнула. Как готовишься к прыжку в холодную воду, стоишь на краю, считаешь до трёх — и всё равно, когда вода обжигает тело, вскрикиваешь. Я обернулась:

— Тима, папа очень занят по работе, он сейчас не сможет, — сказала я. Максимально спокойно. Насколько получилось. Голос ровный. Лицо ровное. Всё ровное. А внутри — обвал.

Кирилл украдкой бросил быстрый взгляд на меня и вернулся к дороге. Промолчал. И за это молчание я была ему благодарна. Потому что любое слово сейчас — любое — было бы лишним.

— Опять занят? — расстроился Тима. Голос обиженный, но привычно обиженный. Как у ребёнка, который уже знает, что ответ будет «нет», но всё равно спрашивает. По инерции. По надежде. По тому маленькому, упрямому огоньку внутри, который ещё не научился гаснуть.

Да... последнее время — особенно после того, как я узнала про Алину и произнесла вслух и серьёзно слово «развод» — я видела, что Дамир пытается быть с нами чаще. Он приходил раньше. Он садился на пол рядом с Тимой. Он даже читал ему на ночь — один раз, криво держа книжку, путая имена персонажей, — и Тимка смотрел на него снизу вверх такими глазами, что у меня сжималось всё.

Но я не могла. Ни простить, ни забыть.

Ни Алину — ни других, которые точно были, я просто не знала имён и обстоятельств.

Ни того, что у нас не было никакого «стоп-слова». Только его «хочу» и его «ты моя».

Я так не хотела. И не могла. Больше — не могла.

Глава 6.

Я бы, наверное, даже забыла про ту грубость сразу после ночи в доме Кирилла. И даже про ремень. Тело — оно умеет забывать. Синяки проходят. Полосы бледнеют. Кожа обновляется. Но... он не хотел меня слушать. Не хотел услышать — что мне так не нравится. Что мне не нравится БДСМ. Что мне не нравится быть рабыней. Что я не готова мириться с его изменами — ни прошлыми, ни — получается — будущими.

Потому что разговора о том, что такого больше не повторится, — даже не было. Как будто это не заслуживает обсуждения. Как будто моё «нет» — это белый шум, помеха на линии, которую можно проигнорировать.

А даже если бы такой разговор и случился — кто должен в это верить? Это уже случалось. Не раз. Не два. Обещание, нарушение, обещание, нарушение — как волны о берег. Волны не останавливаются. Волны не умеют останавливаться. Они будут приходить — снова и снова, — стирая всё, что ты пытаешься построить на песке.

Так что же мешает ему вернуться к этой «практике» через время? Когда ему покажется, что жена уже полностью «его» и снова беспрекословно слушается? Когда тело снова привыкнет? Когда я снова забуду, как звучит моё собственное «нет»?

Ничего. Ничего не мешает.

Именно поэтому я сейчас здесь. В чужой машине, с чужим мужчиной, с собственным сыном, с заблокированной карточкой. На дороге в Хельсинки. На дороге — от.

И — впервые за очень долгое время — на дороге к.

Хельсинки встретили нас так, как встречают людей, которых не ждут: равнодушно, ласково и с полным отсутствием вопросов. Городу было всё равно, откуда мы и зачем. И именно это было — роскошью.

Июнь. Белые ночи. Солнце висело над крышами — низкое, густое, тягучее, как мёд, который не стекает с ложки, а тянется бесконечной золотой нитью. Воздух пах нагретым камнем, свежескошенной травой откуда-то из парков и чем-то ещё — чем-то чистым, прохладным, — как будто город только что умылся и ещё не успел высохнуть. Было тепло. Тепло, которое не давит, а обнимает.

Тимка прилип к стеклу и считал трамваи.

— Мама, а почему здесь трамваи зелёные?

— Потому что финны любят порядок в цветах, — серьёзно ответил Кирилл. И покосился на меня — проверяя, не перегнул ли, не залез ли туда, где ему быть не положено. В место под названием «отвечать на вопросы моего ребёнка».

Тимка задумался. Принял. Пошёл считать дальше.

А я выдохнула. Незаметно, в стекло, так, чтобы Кирилл не увидел. Но он, конечно, увидел. Он замечал всё — как человек, который привык смотреть на людей чуть пристальнее, чем нужно, и чуть дольше, чем удобно.

Ресторан нашёл Кирилл — маленький, на набережной, с деревянными столами и низкими лампами, похожими на опрокинутые стаканы. Внутри пахло жареной рыбой и свежим хлебом, и от этих запахов Тимка, только что клевавший носом в машине, вдруг ожил — резко, мгновенно, как включают лампочку.

— Мам, я хочу есть!

— Я знаю, малыш.

Кирилл заказал по-фински. Легко, небрежно, без запинки — как человек, который делал это не в первый раз и не во второй. Официантка — молодая, белобрысая, с россыпью веснушек на переносице — ответила ему улыбкой, и я поймала себя на нелепом, абсолютно неуместном

уколе чего-то похожего на ревность. Какая ревность? К кому? К чему? Он мне никто. Мне вообще сейчас не до этого. Мне сейчас до выживания.

Но укол был. Маленький. Тонкий. Как от булавки, которую случайно задеваешь в подкладке пальто.

Тиме принесли рыбные котлетки с картофельным пюре и брусничным соусом. Он ел жадно, сосредоточенно, с серьёзным лицом человека, занятого важнейшим делом. Размазывал пюре по тарелке, макал котлетку в соус, облизывал пальцы — и на секунду, на одну драгоценную секунду, всё было нормально. Просто мальчик ест ужин. Просто мама смотрит на него. Просто тёплый вечер в незнакомом городе.

Мне принесли лосося на подушке из шпината. Красивого, розового, с хрустящей корочкой. Я смотрела на него и понимала, что не голодна. Что тело отключило голод — где-то там, на границе, где-то между Выборгом и Коткой, — и теперь работает в режиме экономии: только дыхание, только сердцебиение, только ноги — потому что ноги нужны, чтобы бежать. Но я заставила себя есть. Потому что Тимка смотрел. И потому что Кирилл смотрел. И потому что если я не буду есть — начнутся вопросы. А вопросов я не хотела. Я хотела тишины. Тёплой, густой, финской тишины, в которой можно раствориться и не объяснять.

Кирилл ел свою треску и рассказывал Тимке про маяки. Что-то про то, как раньше в маяках сидели специальные люди и зажигали огонь, чтобы корабли не разбились о скалы. Тимка слушал, открыв рот, и кусочек картошки медленно падал с вилки обратно на тарелку, а он не замечал. Кирилл говорил негромко, спокойно, без того назидательного тона, каким взрослые обычно объясняют детям «сложные вещи». Просто рассказывал. Как рассказывают равному.

— А мы увидим маяк? — спросил Тимка.

— Может быть, — сказал Кирилл. И посмотрел на меня. Коротко. Вопросительно. Как будто ответ зависел от меня. Как будто вообще всё зависело от меня.

А я подумала: мне бы сейчас свой маяк. Кто-нибудь, кто зажжёт огонь и покажет, где скалы, а где — проход.

После ресторана Кирилл сверился с навигатором и повернул к побережью. Мы ехали минут двадцать — мимо аккуратных заборчиков, мимо почтовых ящиков странной формы, мимо берёз, которые стояли вдоль дороги, как почётный караул, — и Тимка уже снова засыпал, привалившись виском к ремню безопасности, и его рот был чуть приоткрыт, и ресницы подрагивали, и на подбородке — розовое пятнышко от брусничного соуса.

— Это дом Димки, — сказал Кирилл, сворачивая на узкую грунтовую дорожку, обсаженную соснами. — Это мой одноклассник. Он его обычно сдает, но сказал, что можем жить, сколько нужно.

Сколько нужно.

Я попробовала эти слова на вкус. Как давно мне никто не говорил «сколько нужно». В моей жизни всё было «сколько разрешено». Сколько разрешит Дамир. Сколько минут можно разговаривать по телефону. Сколько друзей можно иметь. Сколько раз в неделю можно выйти без него. Всё — дозировано, расчерчено, взвешено на его весах, где на одной чаше — моя свобода, а на другой — его спокойствие. И его чаша всегда перевешивала.

Глава 7.

Дом оказался — почти новый, деревянный, светлого дерева, с большими окнами и чистыми линиями, — минималистичный, но не холодный. Скорее — продуманный до последней доски. Стоял прямо на берегу залива, и вода начиналась буквально за задним двором. Не дача, не коттедж — именно дом. Тот тип финского дома, который не кричит о деньгах, но шепчет о вкусе. Несколько ступенек вверх, дверь открылась легко, бесшумно, и внутри — запах свежего дерева, светлые стены, много воздуха и пространства. Уютно — без лишнего, без показного, без единой вещи, которая была бы «для красоты». Всё — для жизни. Для удобства. Для того, чтобы войти и выдохнуть.

Кирилл взял Тимку на руки — сонного, вялого, как тряпичная кукла, — и понёс внутрь. Тимка пробормотал что-то неразборчивое, ткнулся лицом ему в шею и затих. И Кирилл нёс его так осторожно, так бережно, как нёс бы стеклянный шар с целым миром внутри. Прижимая к себе. Придерживая голову ладонью.

Я шла следом и чувствовала, как горло сжимается. Не от благодарности — от чего-то большего. От того, что мой сын спит на руках у человека, которого знает два дня, — и спит спокойно.

Спальня для Тимки нашлась наверху — небольшая, светлая, с широким окном, за которым угадывались верхушки сосен. Рядом — моя. Дверь в дверь, через три шага по коридору. Я постелила ему из чистого белья, которое лежало в шкафу, аккуратно сложенное, пахнущее кондиционером и чужой заботой. Стянула с него кроссовки. Джинсы. Футболку с динозавром. Он не проснулся — только повернулся набок, подтянул колени к груди и засунул кулачок под щёку. Жест, от которого у меня всегда — всегда, с первого дня его жизни — что-то обрывалось внутри. Такой маленький. Такой беззащитный. Такой мой.

Я наклонилась и поцеловала его в висок. Тёплый. Чуть солоноватый от пота и морского ветра.

— Спи, мой хороший, — прошептала я.

И стояла ещё минуту. Две. Слушая его дыхание. Ровное. Спокойное.

Когда я спустилась, Кирилл уже был на заднем дворе — том самом, который смотрел прямо на залив. Он сидел в одном из глубоких кресел с высокой спинкой, вытянув длинные ноги, и смотрел на воду. Рядом стоял газовый гриль, потемневший фэйер-пит, а чуть поодаль — навес с деревянным настилом, под которым угадывались стол, плетёные кресла и диванчик, прикрытый пледом. Двор был обустроен для жизни — не для фотографий, а для вечеров, когда хочется сидеть до темноты, которая не наступит. Вода была неподвижной, серо-лиловой, с розовыми полосами от солнца, которое не собиралось садиться. Белая ночь. Небо — светлое, прозрачное, акварельное — без единого облака. И тишина. Такая тишина, от которой звенит в ушах, потому что ты разучилась её слышать.

Рядом с ним на широком подлокотнике стояли две кружки и бокал.

— Чай или вино? — спросил он, не оборачиваясь. Как будто знал, что я стою в дверях. Как будто слышал мои босые ступни на деревянном полу.

— Чай.

— Точно?

— Точно.

Он кивнул. Налил мне чай из прозрачного чайника — травяной, пахнущий мятой и чем-то медовым, — и протянул кружку. Пальцы его на мгновение коснулись моих. Случайно. Или не случайно. Я не стала разбираться.

Себе он плеснул вина в бокал — красного, тёмного, с тяжёлым рубиновым отблеском.

— А ты точно не хочешь? Хорошее вино, итальянское, у Димки всегда припасено - оставил целый шкаф.

— Кирилл, нет.

Я сказала это чуть резче, чем хотела. И тут же поймала его взгляд — быстрый, внимательный, считавающий. Он не обиделся. Просто принял. Как тогда, в машине, когда убрал руку. Без «ну почему», без «ну один бокальчик», без этого мужского настаивания, которое маскируется под заботу, а на деле — продавливание.

И это было — странно. Непривычно. Как ходить без каблуков после десяти лет на шпильках: вроде удобнее, а ноги не понимают.

Мы сидели рядом. Не вместе — рядом. Между нами — полметра, чайник на столике и молчание. Залив дышал перед нами — медленно, тяжело, с тихим шорохом волн о камни, с лёгким плеском где-то далеко, у самого горизонта. Чайки замолчали. Ветер лёг. Всё замерло — как замирает природа, когда ей нечего добавить.

Чай был горячий, и я держала кружку двумя руками, грея ладони, хотя вечер был тёплый. Просто — нужно было что-то держать. Что-то конкретное, осязаемое, обжигающее. Керамика, нагретая кипятком. Шершавая поверхность под подушечками пальцев. Точка опоры, когда всё остальное — зыбкое.

Кирилл пил вино медленно, задумчиво, как человек, который пьёт не для удовольствия, а для паузы. Для зазора между словами, которые хочется сказать, и молчанием, которое пока безопаснее.

— Тимка хороший, — сказал он наконец. Негромко. Не мне — скорее заливу. Или вечеру. Или себе.

— Да, — ответила я. Потому что это была единственная правда, в которой я не сомневалась. Всё остальное — зыбко, ненадёжно, построено на песке, на «может быть» и «не знаю». Но Тимка — хороший. Это — гранит.

— Вась, ты как? — он повернулся ко мне. Лицо — серьёзное, без улыбки, без прищура. Глаза — светлые, почти прозрачные в этом бесконечном закатном свете, — и в них не было того, чего я боялась. Ни жалости. Ни любопытства. Ни расчёта. Просто — вопрос. Честный, прямой, без двойного дна.

Как я? А как бывают люди, которые за один день проехали нн-ое количество километров, пересекли границу, потеряли банковскую карту и привезли шестилетнего сына в чужую страну, потому что дома — страшнее?

— Нормально, — сказала я.

И мы оба знали, что это неправда.

Но Кирилл кивнул. Отпил вино. Посмотрел на залив.

Принял.

И мы сидели так — молча, рядом, с чаем и вином, с тишиной и заливом, с розовым небом, которое не темнело, — и впервые за долгое, очень долгое время мне не нужно было ничего объяснять. Не нужно было оправдываться. Не нужно было бояться, что скажу не то, не так, не тем тоном. Не нужно было считать минуты. Не нужно было ждать щелчка ремня.

Я сделала глоток чая. Мятный. Горячий. С привкусом мёда и чужой доброты.

Залив лежал перед нами — тихий, терпеливый, никуда не торопящийся. Как будто говорил: ну вот. Ты добежала. Ты здесь. Дыши.

И я дышала.

Впервые за восемь лет — без разрешения.

Кирилл первым нарушил молчание и задал вопрос, который висел между нами:

- С тобой тоже так было? — он смотрел не на меня — на воду, видимо боясь пока увидеть мои эмоции.

- Не так, но было, - ответила я. Не вдаваясь в подробности.

- Прости, я не знал, я не подумал ... - честно сказал он, потом добавил, - он тебя бил?

Напряжение повисло невидимым тяжелым фоном.

- Нет ... в смысле ... ну ... не так, как ты сказал, - я хотела бы объяснить, но воспоминания о том дне, когда я вернулась после вечеринки в его доме, просто непрошено нахлынули и я поняла, что голос дрожит.

- Сволочь я конченная, думал только о том, что твой муж увел у нас контракт, - его голос тоже дрогнул.

- Кирилл, - а голос все никак не обретал желаемую твердость, - понимаешь, был бы не ты, было бы что-то другое, он просто всегда был таким, а после ... получилось, что решил, что можно, - наконец выразила я то, что бурлило все это время во мне и я высказала наконец это вслух.

Глава 8.

- Васька, - его рука мягко легла на мое плечо, и он слегка притянул меня к себе:

- Прости меня козла, прости пожалуйста.

И мне так захотелось прильнуть к его плечу, расслабиться и, наверное, заплакать, но я старалась сдерживаться. Моя голова как будто сама легла на его твердое и одновременно такое мягкое и уютное плечо.

Он тихонечко поцеловал мои волосы. Легко, еле касаясь, еле слышно.

Мы так сидели какое-то время, даже не знаю сколько, я буквально провалилась в это ощущение тепла и уюта. Так давно забытого.

Его плечо пахло хлопком, чуть-чуть — морской солью и совсем немного — тем самым вином, которое я отказалась пить. Странно, как тело запоминает. Я не помнила, когда последний раз прислонялась к кому-то вот так — без страха, без просчёта последствий, без мысли «а что будет потом». Наверное, к маме. В детстве. Когда мир был устроен просто: если страшно — прижмись, и станет не страшно.

С Дамиром так не было. Никогда. Даже в самом начале — когда он дарил цветы и возил в рестораны, когда казался сильным, а не жёстким, надёжным, а не контролирующим, — даже тогда прислониться к нему было как прислониться к стене: твёрдо, холодно, и ты всё время чувствуешь поверхность, а не человека.

Кирилл сидел неподвижно. Дышал ровно. Не шевелился — боялся спугнуть. Как будто на его плечо села птица, и он знал: одно движение — улетит. И он был прав. Я бы улетела. Если бы он сейчас обнял меня крепче, притянул ближе, попытался поцеловать — я бы встала. И ушла. И закрылась бы в комнате. И всё вернулось бы на исходную — на ту отметку, где я одна, и он — чужой, и между нами — только вина и история, которую лучше не вспоминать.

Но он не двигался.

И я не уходила.

— Я тогда даже не подумал, что будет дальше, — заговорил он снова. Тихо. Глухо. Как из-под воды. — Я был такой... идиот самоуверенный. Решил, что это просто — щёлк, фотографии, шантаж, контракт вернётся. Как в кино. Никто не пострадает. Все пойдут по домам.

Он помолчал. Сделал глоток вина. Бокал в его руке чуть дрожал — или мне казалось?

— А потом увидел тебя. Через неделю. В торговом центре. Случайно. Ты шла с Тимкой, он ел мороженое, и ты улыбалась ему, и всё выглядело... нормально. Но ты шла так, Вась. Так, как ходят люди, у которых болит — не снаружи, внутри. Осторожно. Как по битому стеклу. И я подумал — это я. Это из-за меня. Из-за моих чёртовых фотографий.

Я молчала. Потому что он был прав. И потому что мне нечего было ему ответить — ни утешительного, ни гневного, ни великодушного. Правда стояла между нами — голая, некрасивая, неудобная, — и одевать её в красивые слова не хотелось.

— Ты поэтому помог мне сейчас? — спросила я. Не обвинение. Не благодарность. Просто — вопрос. Мне нужно было знать. Из чего сделана эта помощь — из вины или из чего-то другого.

Он повернул голову. Посмотрел на меня — сверху вниз, потому что я всё ещё лежала на его плече, и его подбородок был прямо над моими волосами, и я видела его лицо — снизу, в ракурсе, который делает любого человека незнакомым.

— Сначала — да. Из-за вины, — сказал он. Честно. Без паузы. Без попытки причесать ответ.

Сначала.

Я услышала это слово. Поддержала на языке. Отложила.

— А потом?

— А потом... — он не договорил. Отвернулся к заливу. Допил вино одним глотком — резко, залпом, как пьют не вино, а решимость. Поставил пустой бокал на подлокотник. Звук стекла о дерево — тихий, чёткий, окончательный. — А потом — неважно. Не сейчас.

И я была ему благодарна за это «не сейчас». Потому что «сейчас» — это было слишком. Слишком рано, слишком хрупко, слишком похоже на тот момент, когда только-только сняли гипс, и кость ещё не срослась, и любое неловкое движение — и снова перелом. Я не была готова ни к его «потом», ни к своему. Я была готова только к чаю. К тишине. К плечу, на котором можно просто лежать — молча, бездумно, безопасно.

Чай остыл. Я допивала его холодным — мятный привкус стал резче, а мёд ушёл, и осталась только горечь трав и что-то терпкое, от чего сводило нёбо. Но мне нравилось. Мне нравился этот вкус — вкус того, что не притворяется. Холодный чай честнее горячего: горячий прячет всё за паром, за теплом, за иллюзией уюта. Холодный — показывает, что внутри.

— Тебе постелить? — спросил Кирилл. Осторожно. Как спрашивают у человека, который заснул в неудобной позе: разбудить — жалко, оставить — неудобно.

Я подняла голову с его плеча. Шея затекла. В ухе — звон от долгого молчания. Я потёрла затёкшую щёку и поняла, что от ткани его рубашки на ней остался отпечаток — шва, складки, чего-то мелкого и рельефного.

— Я сама разберусь, спасибо.

— Вась, — он поймал мой взгляд. Секунда. Две. — Ты в безопасности. Здесь.

Простые слова. Четыре слова. Ничего особенного — ни красноречия, ни пафоса, ни клятв. Но они легли — точно. Как ключ в замок. Как пластырь на рану, которая болит так давно, что ты забыла, что это — рана, а не часть тебя.

Я кивнула. Не потому что верила. Вера — это слишком дорогая валюта, и у меня не осталось запасов. Но я хотела верить. А это — начало.

Спальня для меня оказалась рядом с Тимкиной — через стенку, дверь в дверь, так что ночью, если что, я услышу. Светлая, с широкой кроватью, с мягким пледом и деревянными жалюзи на окне, которые не нужны — ночь и так не наступит. Я закрыла дверь. Повернула защёлку. Проверила. Потом — ещё раз. Привычка. Рефлекс. Дома я всегда запирала ванную — единственное место, где можно было побыть одной, где Дамир не входил, — нет, входил, если ему хотелось, замок был декоративный, — но хотя бы стучал. Иногда.

Здесь замок был настоящий. С щелчком. С язычком, который входил в паз — и держал.

Я села на кровать. Простыни пахли лавандой — как шкаф наверху, как весь этот дом, как чужая спокойная жизнь, в которую мы вломились, как беженцы. А мы и были беженцы. Я — беженка. Женщина, сбежавшая от мужа с ребёнком в чужую страну. Ещё утром я была женой. Хозяйкой квартиры. Женщиной с адресом, со статусом, с кредитной картой и бирюзовым покрывалом, которое разглаживала каждое утро. А сейчас — сижу на чужой кровати, в чужом доме, в чужой стране, с заблокированной картой и мятым чаем внутри.

Телефон лежал на тумбочке. Чёрный. Молчаливый. Я знала, что стоит взять его в руки — и всё начнётся заново: голосовые Дамира, его слова, его просьбы. Я знала — и всё равно потянулась.

Глава 9.

Новое сообщение.

«Василиса, я понимаю, что ты устала. Я обещаю — всё будет по-другому. Только вернись. Тимке нужен отец. Подумай о нём».

Тимке нужен отец.

Вот оно. Контрольный выстрел. Точно в цель — в то место, которое болит всегда, которое не защитить ни бегством, ни границей, ни финским замком на двери. Потому что он прав. Тимке нужен отец. Каждому ребёнку нужен отец. И Тимка любит его — любит той слепой, упрямой, щенячьей любовью, которой дети любят родителей, — не за что-то, а вопреки, не потому что хорошо, а потому что папа.

Но.

Тимке нужен отец. А не тиран. Не контролёр. Не человек, от которого мама ходит по квартире так, как ходят по битому стеклу.

Я положила телефон экраном вниз. Как кладут карту — рубашкой вверх, чтобы не видеть, что на ней.

Легла. Натянула плед до подбородка. Клетчатый, шерстяной, колючий — и от этой колючести стало почему-то спокойнее. Потому что колючее — настоящее. Потому что мягкое слишком часто оказывалось ловушкой.

За стеной было тихо — только Тимкино дыхание, если прислушаться. Кирилл был внизу, в своей просторной спальне на первом этаже. Или ещё сидел во дворе. Я не знала. И — впервые за очень долгое время — мне не нужно было знать, где мужчина. Не нужно было прислушиваться к шагам. Не нужно было угадывать настроение по звуку открывающейся двери.

Залив шумел за окном — тихо, мерно, как дыхание спящего великана. Волна — пауза — волна. Волна — пауза — волна. Ритм, не требующий ответа. Ритм, который просто есть — как сердцебиение, как прилив, как жизнь, которая продолжается, даже когда ты не уверена, что хочешь этого.

Я закрыла глаза.

И последняя мысль — перед тем как провалиться в сон — была не о Дамире. Не о Кирилле. Не о карточке, не об адвокате, не о разводе.

О Тимкином кулачке под щекой.

О брусничном пятнышке на подбородке.

О том, что завтра утром он проснётся — и я буду рядом.

И больше мне ничего не нужно.

Прилив придёт — и всё смоем. Страх, вину, следы на песке. Всё.

Но это — потом.

А сейчас — сон. И тишина. И щелчок замка, который держит.

Я проснулась первой. Открыла глаза — и секунду не понимала, где я. Потолок — светлый, деревянный, с аккуратными балками. Не наш потолок. Не наша спальня. Не наша жизнь.

А потом — вспомнила. Всё. Разом. Как ведро холодной воды — сверху, по макушке, без предупреждения. Финляндия. Дом на заливе. Кирилл. Побег. Заблокированная карта. Мятый чай вчерашнего вечера и плечо, на котором я задремала, прежде чем дойти до кровати.

Первая мысль — Тима.

А вдруг проснулся раньше? А вдруг испугался? Чужая комната, чужая кровать, чужой запах подушки — и мамы нет. Для шестилетнего мальчика это — конец света. Тихий, беззвучный, с широко распахнутыми глазами и подбородком, который дрожит, но не плачет, потому что папа говорил — мужчины не плачут.

Я встала. Босые ступни на тёплом деревянном полу. Три шага по коридору — дверь в дверь, как и обещала себе вчера, — и я заглянула к нему.

Спит. На боку, кулачок под щекой, колени к груди — поза эмбриона, поза абсолютного доверия к миру. Рот приоткрыт. Ресницы подрагивают — снится что-то. Хорошее, надеюсь. Пусть ему снится хорошее.

Я оставила его дверь открытой — настежь, чтобы слышать, если зашевелится, — и пошла вниз.

Кухня оказалась такой же, как весь этот дом, — минималистичной, светлой, с чистыми поверхностями и ощущением, что здесь всё продумано до последнего ящика. Белые шкафы, деревянная столешница, большое окно над раковиной, за которым — сосны и краешек залива, блестящий в утреннем свете, как расплавленное олово.

Вчера я ничего не рассмотрела — вчера было не до кухни. Вчера было до плеча, до чая, до замка на двери. А сейчас — утро. И утро требовало действий. Конкретных, понятных, приземлённых. Кофе. Завтрак. Нормальность — хотя бы в чашке.

Дверь в спальню Кирилла была открыта.

Я не собиралась заглядывать. Правда — не собиралась. Но коридор узкий, дверь — нараспашку, и взгляд сам скользнул туда, как скользит по открытой книге, даже если ты не хотела читать.

Он спал на животе, поперёк кровати, одна рука свесилась вниз, почти касаясь пола. Спальня оказалась большой — явно главной в доме: просторная, с собственной ванной, с тем самым минималистичным уютом, который не давит, а обнимает. Кирилл уступил нам второй этаж, забрав себе первый. Чтобы мы с Тимой были рядом. Чтобы я слышала сына через стенку.

Я подумала — Дамир выбрал бы эту спальню по другой причине. Подальше от детской. Чтобы не было слышно. Чтобы никто не мешал. Чтобы ночью — только его территория, его правила, его «иди сюда».

Но здесь всё было устроено иначе. Здесь нижняя спальня — это для родителей, которые хотят немного тишины после дня с детьми. Или для подростков, которым нужна приватность. Или просто — для людей, которые уважают чужое пространство. Нормальных людей. Тех, для которых закрытая дверь — это закрытая дверь, а не приглашение войти.

Я отвернулась и пошла на кухню.

Кофе нашёлся в верхнем шкафу — молотый, в жестяной банке, ещё пахнущий. Чай — россыпью, в нескольких коробках, мята и что-то ягодное. Сахар. Соль. Специи — аккуратно расставленные, как солдатики на параде. И — корица. Целая банка корицы, большая, полная, словно предыдущие гости её не тронули.

Корица.

Я стояла с этой банкой в руках и чувствовала, как горло сжимается — от такой ерунды, от такой смешной, ничтожной мелочи. Дома я вечно забывала её купить. Вернее — не забывала, а не успевала, потому что список покупок составлялся на бегу, между Тимкиными кружками и Дамировыми требованиями, и корица каждый раз вылетала из головы. А Дамир злился. Не кричал — нет, Дамир не кричал из-за корицы. Он делал хуже. Он смотрел. Тем самым взглядом, от которого хочется стать маленькой. Стать невидимой. Стать той, кто никогда не забывает. И говорил — ровно, спокойно, с интонацией учителя, объясняющего двоечнику очевидное: «Василиса, это несложно. Список. Телефон. Две минуты. Почему я должен об этом напоминать?»

А здесь — корица просто стояла. Никому ничего не должна. Никого не злящая. Просто — специя в шкафу. В нормальном доме. Где специи не становятся поводом для допроса.

Я поставила банку на место. Вдохнула. Выдохнула.

Макароны. Рис. Оливковое масло. Уже что-то. Но молока не было — конечно, не было, скоропортящийся продукт, дом стоял пустой, кто бы его оставил? Значит — магазин. Я попыталась вспомнить, далеко ли мы вчера видели что-то похожее на посёлок, но в голове было пусто — вчера я смотрела не на дорогу, а в себя.

И тут пришло понимание — я не могу доехать. Машина Кирилла. Чужая машина, в чужой стране, с правым рулём — нет, не с правым, здесь нормальный, но всё равно — чужая. Я не могу просто сесть и поехать.

Глава 10.

У меня были права. Российские, международные — всё как положено. Но Дамир настаивал, чтобы я ездила с водителем. Его водителем. Его человеком — тем, который отвозит и привозит, и попутно, конечно, докладывает. Куда ездила, во сколько вернулась. Контроль. Всегда — контроль. Невидимый поводок, замаскированный под заботу.

Бывали, конечно, случаи — такси, иногда каршеринг. Но каждый каршеринг превращался в скандал. Не крик — нет, Дамир не кричал. Он выжигал. Холодным тоном, ледяным взглядом, многозначительным молчанием за ужином, от которого воздух густел и еда вставала поперёк горла. «Зачем тебе каршеринг, Василиса? У тебя есть водитель. Ты что — хочешь, чтобы я волновался?»

Волновался. Боже. Он волновался, как волнуется тюремщик, когда заключённый просит погулять во дворе без конвоя.

Переезд в Питер — в квартиру в центре — снял часть этого напряжения. Ходили пешком, ездили на такси, водитель приезжал реже. Но суть не изменилась. Поводок стал длиннее — не исчез.

Я стояла с пустой кофеваркой в руках — итальянская, гейзерная, как у нас дома, и от этого совпадения стало вдруг душно, — и в эту секунду пришла мысль. Короткая. Острая. Как осколок стекла под босой ногой.

А может — всё, что я делаю, — ошибка?

Да — изменил. Но это же в прошлом? Это же было — тогда. Не сейчас. Это же такая пошлая, такая обыденная, такая до зевоты распространённая ситуация — жена дома с ребёнком, а муж, успешный, красивый, уверенный в себе, находит развлечения на стороне. Пошло. Отвратительно. Но — буднично. Так буднично, что подруги, если бы они у меня были, сказали бы: «Ну а что ты хотела?»

Я знала. Где-то внутри — знала. Женщины всегда знают. Мы чувствуем это раньше, чем находим доказательства, — по запаху, по паузе в голосе, по тому, как муж начинает слишком тщательно выбирать рубашку на обычный рабочий день.

Но сама — не могла забыть. Не могла простить. Да он и не просил прощения. Не настоящему. Сказал — «все гуляют». Два слова. Как диагноз. Как приговор. Как отмашка — мол, не выдумывай, не усложняй, не будь такой.

И его — грубость.

Нет — не грубость. Грубость — это слово для хамства в очереди, для мата в пробке, для сломанного забора, который не починили. А то, что делал Дамир, — это другое. Это нежелание слышать моё «нет». Системное. Методичное. Раз за разом, ночь за ночью — как капля, которая точит камень, только камень — это я.

На самом деле — ничего же такого ужасного не произошло. Он не ударил. Не сломал руку. Не оставил синяков, которые нужно прятать под тональным кремом и длинными рукавами. Никакого реального физического вреда — так сказал бы адвокат, так сказал бы врач, так сказали бы все, кому я попыталась бы объяснить.

Но.

То, что моё «нет» игнорировалось — раз за разом, с усмешкой, с «ну не капризничай», с пальцами, которые расстёгивали то, что я только что застегнула, — заставляло чувствовать себя... Да. Это было похоже на изнасилование. Не юридически. Не клинически. Я слава богу не переживала настоящего — того, от которого остаются протоколы и экспертизы. Но ощущение — то самое. Шок. Оцепенение. Тело, которое перестаёт быть твоим. И потом — тёмная, затягивающая, вязкая депрессия, из которой не выбраться, потому что ты даже не можешь назвать

то, что с тобой произошло. Потому что слов — нет. Потому что мир говорит тебе: это твой муж, это нормально, это не считается.

Считается.

До чего я это довела? До чего — позволила? Всё же было нормально — в начале. Или казалось нормальным, что, в сущности, одно и то же, потому что в начале всё всегда кажется нормальным, в этом и фокус. Мне не надо было так надолго уходить из профессии. Я и не собиралась. Но Дамир — каждый раз, каждый разговор про работу, про должность, про «я нашла вакансию» — устраивал скандал. Тихий, ювелирный, с хирургической точностью нажимающая на те кнопки, которые знал только он: «А кто будет с Тимой?», «Ты думаешь, тебя возьмут после такого перерыва?», «Зачем тебе работать, Василиса? Я что — мало зарабатываю?»

Даже к нему в компанию — даже туда он не хотел. Категорически. И теперь я понимала почему. Из-за таких, как Алина. Которые могут неожиданно-негаданно появиться — и в приёмной, и в переговорной, и в том самом кабинете с кожаным диваном.

Кабинет.

Мысль пришла сама — непрошенная, скользкая, мерзкая, как холодный слизняк, упавший на голую кожу. А он — занимался с кем-то из них сексом прямо там? В кабинете? На том самом диване, где я сидела, ожидая его после совещания, листая журнал, пока секретарша несла мне кофе?

Стало отвратительно. Физически — как тошнота, только не в желудке, а где-то за грудиной, там, где живёт то, чему нет названия. Не ревность — ревность осталась в прошлом, выгорела дотла, как бумага в камине. А именно — отвращение. К нему. К себе. К тому, что терпела. К тому, что могла бы терпеть и дальше, если бы не Кирилл, не фотографии, не та ночь с ремнём.

Я сама ушла. Я сейчас в другой стране. С мужчиной.

Но — не с мужчиной. С другом. У нас ничего нет.

«Пока», — мелькнула предательская мысль. Молниеносная, как вспышка на горизонте — увидела и тут же зажмурилась. Нет. Нет-нет-нет. Не сейчас. Не об этом.

Я включила кофеварку. Вода зашипела, поднимаясь по трубке, — знакомый звук, домашний, единственный звук из прошлой жизни, который не причинял боли. И запах — густой, горький, настоящий — заполнил кухню, заполнил утро, заполнил эту паузу между тем, что было, и тем, что будет.

Корица стояла на полке.

Я добавила щепотку. Просто так. Потому что — могла.

Кофе поднялся — с тихим бульканьем, с шипением, с тем самым хриловатым выдохом, который всегда означает: готово, бери, пей, живи дальше. Я налила его в первую попавшуюся кружку — белую, без рисунка, тяжёлую, как камень, — и вышла на задний двор.

Утро было другим. Не вчерашним — нежным, акварельным, с розовыми полосами заката, который не заканчивался. Сегодня — резче. Свежее. Солнце стояло низко, золотистое, косое, и залив под ним был не серо-лиловый, а стальной, с мелкой рябью, которая вспыхивала бликами, как рассыпанная мелочь. Воздух пах сосновой смолой и водой — не солёной, как на море, а пресной, речной, чуть болотистой. Другой запах. Другая страна. Другая жизнь.

Глава 11.

Я села в удобное кресло на заднем дворе, с высокой спинкой.

Первые пять минут я просто сидела. Пила. Смотрела на воду. Не думала — точнее, пыталась не думать, и это почти получалось, потому что залив делал то, что не умеют делать люди: он просто был. Не требовал. Не спрашивал. Не ждал от меня ничего. Лежал — тихий, огромный, равнодушный к моим проблемам.

Но мозг — предатель. Мозг не умеет молчать. Он дождался, пока я допью полкружки, пока плечи чуть опустятся, пока дыхание замедлится, — и включился. Тихо, исподтишка, как муж, который сначала приносит чай, а потом начинает допрос.

Завтрак.

Тима проснётся — и что? Что я ему дам? Утро — это каша, молоко, тосты с сыром, яйца, йогурт, всё то привычное, ритуальное, что делает утро — утром, а не катастрофой. А у меня — макароны, рис и оливковое масло. Отличный набор для итальянского ужина. Но не для завтрака шестилетнего мальчика.

Молока — нет. Сыра — нет. Хлеба — нет. Масла — нет. Яиц — нет. Йогурта — нет. Я перебирала в голове шкафчики, которые открывала полчаса назад, и список «нет» рос, как снежный ком, катящийся с горы. Нет, нет, нет. Нет ничего, из чего можно собрать нормальный детский завтрак. Из чего можно собрать нормальное утро. Из чего можно собрать иллюзию, что мы не беженцы, что всё под контролем, что мама справляется.

Мама не справлялась.

Я достала телефон. Экран — чистый, без уведомлений, и от этой тишины стало не спокойнее, а тревожнее, потому что тишина Дамира — всегда затишье перед бурей.

Я открыла браузер и набрала: «online grocery delivery Finland». Гугл выдал ссылки — K-Market, S-Market, Foodora. Я ткнула в первую. Сайт загрузился — финский. Целиком, абсолютно, безнадежно финский. Maito. Juusto. Leipä. Я узнала «maito» — молоко, кажется, — только потому, что видела вчера на заправке, когда мы останавливались. Или мне казалось, что видела. Или это было шведское «mjölk». Или вообще ничего из перечисленного.

Я переключила язык на английский — кнопка нашлась не сразу, маленькая, в углу, как будто прячется. Половина товаров перевелась. Другая половина осталась на финском, упрямо, принципиально, как будто говоря: ты здесь чужая, и не делай вид, что это не так.

Нашла молоко. Хлеб. Масло. Сыр — какой-то финский, в жёлтой упаковке, бог его знает какой, но сыр. Яйца. Йогурт — детский, с клубникой, в упаковке с нарисованным лосём. Тима бы оценил лося.

Добавила всё в корзину. Нашла доставку — ближайшая через три часа. Три часа. Тима проснётся через полчаса, максимум час. Но три часа — это лучше, чем никогда. Это лучше, чем ничего.

Перешла к оплате.

И вот тут — стоп. Полный, окончательный, безоговорочный стоп. Как стена. Как дверь, захлопнувшаяся перед носом.

Карта заблокирована.

Я всё равно попробовала — ввела номер, срок, CVV, те три цифры, которые знала наизусть, которые набирала с закрытыми глазами, которые были частью моей повседневной жизни, как телефонный номер и пин-код домофона. «Транзакция отклонена». Красным. Жирным.

Нет. Не глюк. Дамир. Его рука — длинная, невидимая, дотянувшаяся через границу, через километры, через всё моё бегство — и сжавшая то единственное, что он ещё мог сжать. Деньги. Контроль. «Ты никуда не денешься, Василиса. У тебя нет ничего своего».

И ведь так и было. У меня не было ничего своего. Карта — на его счёте. Квартира — его. Машина — его. Даже телефон — его корпоративный тариф, и я вдруг подумала: а не отключит ли он и его? Может ли? Технически — может. Позвонит оператору, скажет — утеря, заблокируйте. И всё. Ни связи, ни интернета, ни тонкой ниточки к внешнему миру. Изоляция — его любимый инструмент, только теперь — дистанционный.

Я закрыла сайт. Положила телефон на подлокотник кресла — экраном вниз, как вчера. Как карту, которую не хочешь видеть.

Кирилл спал. Его дверь была приоткрыта — я видела это, когда проходила мимо. Спал крепко, глубоко, так, как спят люди после длинной дороги и тяжёлого разговора. Рука по-прежнему свешивалась с кровати. Не шевелился.

Разбудить?

Мысль мелькнула — и я тут же задавила её. Нет. Не буду. Не потому что стесняюсь — хотя и стесняюсь. Не потому что горжусь — хотя и горжусь, чёрт возьми, эта гордость — единственное, что Дамир не смог отобрать. А потому что будить мужчину ради того, чтобы он решил мою проблему, — это то, что делала старая Василиса. Та, которая сидела и ждала, пока Дамир позвонит водителю. Та, которая не принимала решений. Та, которая была удобной.

Я разберусь сама. Как-нибудь. С макаронами, с рисом, с чем угодно. Разберусь.

— Мама?

Голос — сонный, хриловатый, с тем сладковатым привкусом детского сна, от которого хочется обнять и не отпускать. Тима стоял в дверях, ведущих на задний двор, — босой, в пижаме с динозаврами, с вмятиной от подушки на щеке и волосами, торчащими в пяти разных направлениях.

— Доброе утро, Тимоша, — я поставила кружку и протянула к нему руки.

Он подошёл. Не побежал — подошёл. Медленно, осторожно, оглядываясь по сторонам, как зверёк, впервые вышедший из норы. Чужой двор, чужие кресла, чужое небо — для шестилетнего мальчика это всё ещё было приключением, но приключением настораживающим, из тех, которые пока не решили, хорошие они или страшные.

— Мы ещё в Финляндии? — спросил он, забираясь ко мне на колени. Тёплый. Тяжёлый. Пахнущий сном, молоком, которого не было, и чем-то неуловимо своим — тем самым Тимкиным запахом, который я узнала бы из тысячи, с закрытыми глазами, в любой стране мира.

— Да, малыш. Мы ещё в Финляндии.

— А папа?

Вот оно. Каждое утро — как по расписанию. Не «где мы», не «что будем делать», не «хочу есть». Первое — «а папа?». И каждый раз — нож. Тихий, аккуратный, точно между рёбрами — туда, где дышится.

— Папа в Петербурге. Мы же договорились — отдыхаем, помнишь? Каникулы.

Он кивнул. Не убеждённо — привычно. Как кивают дети, когда не верят, но спорить не хотят. Или не умеют. Или уже научились, что спорить — бесполезно.

— Пойдём, — я поставила его на ноги, — нужно помыться. Ты вчера уснул слишком быстро, помнишь? Даже зубы не чистили.

Он вздохнул — тяжело, по-взрослому, с тем театральным трагизмом, на который способны только дети, — и поплёлся за мной. Босые ступни шлёпали по деревянному полу. Шлёп-шлёп-шлёп. Самый лучший звук на свете.

Глава 12.

Ванная наверху оказалась маленькой, но продуманной — душевая кабина, раковина, зеркало, полотенца на подогреваемой рейке. Полотенца — белые, пушистые, наглаженные, из тех, которые бывают в отелях и в домах людей, у которых всё хорошо. Шампунь — финский, что-то с берёзой, я не разобрала, но пах он чисто, свежо, по-лесному.

Тима стоял под душем, зажмурившись, подставив лицо под струю, и вода текла по нему — по плечам, по тонкой спине, по коленкам с вечными ссадинами, — и он был такой маленький. Такой уязвимый. Такой мой.

Я мыла его — привычными движениями, теми, которые тело помнит лучше, чем голова: шампунь на макушку, вспенить, аккуратно, чтобы не попало в глаза, смыть, повторить. Спина. Уши. За ушами — там, где у всех детей скапливается что-то невидимое, но обязательное к смыванию. Пальцы. Между пальцами ног — он дёргался и хихикал, потому что щекотно, и от этого хихиканья у меня сжималось сердце, потому что оно было таким нормальным, таким обычным, таким невозможно прекрасным в своей обычности.

— Мам, а здесь есть море?

— Залив. Это залив.

— А в нём можно купаться?

— Холодно пока. Лето ещё не совсем.

— А когда совсем?

— Скоро.

Скоро. Удобное слово. Универсальное. Годится для всего — для лета, для мороженого, для «когда мы вернёмся к папе», для «когда всё наладится». Скоро. Когда-нибудь. Потом. Три кита, на которых стоит мир матери, не знающей ответов.

Зубы он чистил сам — упрямо, криво, елозя щёткой по передним зубам и игнорируя задние, как делают все дети его возраста. Я стояла рядом, смотрела в зеркало — на его макушку, мокрую, с завитком на затылке, на свои руки, на своё лицо. Лицо было чужим. Бледным, с тенями под глазами, с заострившимися скулами — за последние месяцы я похудела, и не от диеты, а от того напряжения, которое сжирает калории лучше любого фитнеса. Стресс-диета. Рекомендую. Побочные эффекты — бессонница, тремор рук и желание плакать от вида корицы в шкафу.

— Мам, я есть хочу.

Ну вот. Прибыли.

Я открыла холодильник — пустой, гулкий, с единственной бутылкой воды и банкой горчицы, забытой на верхней полке. Закрыла. Открыла шкаф с крупами. Рис. Макароны. Оливковое масло. Специи. Всё то же самое, что час назад, — ничего волшебным образом не появилось, хотя я, кажется, подсознательно на это надеялась. Как будто финские домовые могли подбросить пакет молока и буханку хлеба.

Не подбросили.

Я обшарила все шкафчики — методично, один за другим, дверца-полка-дверца, как сапёр на минном поле. Верхние — специи, чай, та самая корица. Нижние — кастрюли, сковородки, формы для запекания, зачем-то вафельница. Боковой — моющие средства. Угловой — мусорные пакеты. И наконец — дальний, нижний, тот, до которого нужно наклониться и засунуть руку в самую глубину, мимо забытой пачки салфеток и стопки бумажных тарелок, — овсянка.

Пакетик. Маленький, помятый, с финскими буквами и картинкой каши в миске. Быстрого приготовления. Залей кипятком — и через три минуты у тебя есть то, что с натяжкой

можно назвать завтраком. Без молока, без масла, без сахара, без ничего — серая, пресная масса, которую взрослый бы выплюнул. Но дети — не взрослые. Дети едят то, что дают, если дают с улыбкой и историей.

— Тим, — сказала я голосом, в котором было больше энтузиазма, чем я испытывала в последние восемь лет суммарно, — будем делать финскую кашу! Настоящую! Как викинги!

— Викинги ели кашу? — он посмотрел на меня скептически. Шесть лет. Уже скептик. Весь в меня.

— Конечно ели. Каждое утро. Перед тем как идти на море. На своих... — я замялась, потому что мои познания в викингах исчерпывались словом «драккар» и смутным воспоминанием о рогатых шлемах, которые, кажется, оказались мифом, — на своих кораблях.

— Круто, — сказал Тима. Без восклицательного знака. С интонацией человека, который решил поверить, но оставляет за собой право на апелляцию.

Я вскипятила чайник. Залила овсянку. Помешала. Посмотрела на результат — бледное, комковатое, жалкое нечто в белой керамической миске. Добавила щепотку корицы — потому что корица спасает всё, даже безнадёжные ситуации. Попробовала. Пресно. Отвратительно пресно. Но — съедобно. На грани, на самом краю — но съедобно.

Тима сел за стол. Взял ложку. Попробовал. Пожевал. Посмотрел на меня — тем самым взглядом, которым дети смотрят на родителей, когда чувствуют подвох, но не могут его сформулировать.

— Ничо, — сказал он наконец. И стал есть. Медленно, без аппетита, вычерпывая ложку за ложкой, как маленький экскаватор на минимальной скорости. Но — ел. И от этого «ничо», от этого детского стоицизма, от его готовности принять то, что есть, потому что мама старается, — мне захотелось расплакаться. Прямо здесь, на финской кухне, с корицей на пальцах и комком в горле.

Но я не заплакала. Потому что мамы не плачут за завтраком. Мамы улыбаются и говорят «молодец» и «ешь, пока горячая». И я улыбнулась. И сказала.

Мы устроились на заднем дворе — я в кресле, Тима на пледе, расстеленном прямо на деревянном настиле. Он доел кашу и теперь возил ложкой по пустой миске, рисуя невидимые узоры, а я пила вторую кружку кофе — остывшего, с осадком на дне, но кофе — и смотрела, как он смотрит на воду.

Залив завораживал его. Я видела это — по тому, как он замирал, по тому, как поворачивал голову, отслеживая чайку, по тому, как шурился на солнечные блики. В Петербурге у нас была Нева — но Нева — городская, гранитная, одетая в набережные, как в мундир. А здесь — живая вода. Дикая. Без берегов и ограждений, без парпетов и решёток. Вода, которая просто — была. Как и положено воде.

— Мам, а что там? — он показал пальцем вдаль, на противоположный берег, едва видневшийся в утренней дымке.

— Финляндия. Ещё Финляндия.

— А за ней?

— Тоже Финляндия.

— А за ней?

Я улыбнулась. Бесконечная цепочка «а за ней», в которой мир для ребёнка расширяется — шаг за шагом, вопрос за вопросом, горизонт за горизонтом. Когда-нибудь он дойдёт до «а за ней — космос», и я не буду знать, что ответить. Но это — потом. А сейчас — Финляндия. Много Финляндии. Достаточно.

Тима лёг на живот, подперев подбородок кулаками, и стал считать чаек. Одна, две, четыре — тройку он пропустил, но я не стала поправлять. Пусть считает как хочет. Пусть мир будет без троек, если ему так нравится. Пусть будет без правил — хотя бы на это утро.

Я сидела, грела руки о кружку — привычка, от которой, видимо, не избавлюсь никогда, даже если на дворе плюс двадцать, — и слушала. Тишину. Воду. Чаек. Тимкино бормотание — он перешёл к подсчёту камней на берегу, сбился, начал сначала. Нормальное утро. Почти нормальное. Если не считать отсутствия молока, заблокированной карты, чужой страны и мужчины, спящего на первом этаже, — абсолютно нормальное.

Глава 13.

Кирилл появился через два часа с лишним.

Я услышала его раньше, чем увидела, — шаги по деревянному настилу, тяжёлые, шаркающие, с тем характерным ритмом человека, который проснулся, но ещё не понял зачем. Потом — звук воды на кухне. Кофеварка. Чашка. И наконец он вышел.

Сонный. Помятый. С отпечатком подушки на щеке — красным, чётким, как штамп. Волосы — во все стороны, не хуже Тимкиных. Футболка — вчерашняя, мятая, с морщинами на животе, как будто он спал, скрутившись в узел. В руке — чашка с дымящимся кофе. Глаза — щёлки, прищуренные от утреннего света, который после полутьмы спальни бил наотмашь.

Он стоял в дверном проёме — большой, нескладный, сонный, — и смотрел на нас. На меня — в кресле, с остывшим кофе. На Тиму — на пледе, на животе, считающего камни. На залив за нами — стальной, блестящий, безразличный.

— Доброе утро, — сказала я.

— Ммм, — ответил он. Содержательно, - Доброе.

Тима поднял голову. Посмотрел на Кирилла. Секунду оценивал — как оценивают дети: быстро, безжалостно, по каким-то своим критериям, недоступным взрослым. Помятое лицо. Торчащие волосы. Чашка. Щурящиеся глаза.

— Ты смешной, — сказал Тима.

Кирилл моргнул. Потом — усмехнулся. Одним уголком рта, сонно, криво, по-утреннему.

— Спасибо, Тимка. Мне тоже приятно.

Он доплёлся до соседнего кресла — как человек, который ещё не до конца уверен, что вертикальное положение хорошая идея, — и рухнул в него. Кресло скрипнуло. Чашка чудом не расплескалась. Ноги вытянулись — длинные, босые, с мятыми следами от простыни на лодыжках.

Он отпил. Зажмурился. Отпил ещё. И только после третьего глотка — открыл глаза по-настоящему. Посмотрел на залив. Потом на Тиму. Потом — на меня.

— Давно встали? — голос хриплый, низкий, ещё не проснувшийся.

— Давно, — сказала я.

— Завтракали?

Я помедлила. Полсекунды — достаточно, чтобы он заметил.

— Типа того.

Он посмотрел на меня внимательнее. Сон ещё не сошёл до конца — но взгляд уже стал тем самым, вчерашним, считывающим.

— Вась, — сказал он. Тихо. Просто. Без подтекста, без давления, без допроса. — Что не так?

И я вдруг почувствовала — как вчера, как с чаем, как с плечом, — что можно ответить. Честно. Без оправданий, без «всё нормально», без заученной улыбки, которую носила, как маску, восемь лет.

— Карта заблокирована, — сказала я. — В доме нет еды. Тима ел овсянку на воде.

Три предложения. Сухих. Фактических. Без эмоций — потому что эмоции я оставила где-то между «транзакция отклонена» и финским словом «maito», которое так и не купила.

Кирилл молчал. Секунду. Две. Отпил из чашки — медленно, как человек, который думает и не хочет сказать не то.

— Сейчас, — он вздохнул, — чуть-чуть приду в себя, допью кофе и поедем.

— Куда? — тут же откликнулся Тимка. Мгновенно. С той детской реакцией на слово «поедем», которая срабатывает надёжнее любого будильника.

— Ну как куда! Завтракать! — Кирилл улыбнулся, обернувшись к Тиме с хитрым прищуром, — и от этой улыбки, лёгкой, утренней, обращённой к моему сыну, у меня что-то дрогнуло внутри. Не сильно. Как задетая струна — одна нота, тихая, почти неслышная.

— Овсянка была не очень, — признался Тима. Честно. По-детски. Без обиды — просто факт.

— Я не знал, что тут есть, — пожал плечами Кирилл, — но теперь знаю — овсянка! — он шутливо поднял палец вверх, и Тимка хихикнул, и этот звук — детский смех ранним утром на финском берегу — был лучше любого завтрака.

— Кирилл, — сказала я, — мне ещё нужно в банк. Карточка, которая была, давно истекла, нужно оформить новую.

— Позавтракаем — и в банк! — он кивнул, как будто это самая простая вещь в мире. Завтрак. Банк. Всё по порядку. Всё решаемо.

Я посмотрела на него — снизу вверх, хотя мы оба сидели. Не знаю, как это возможно — смотреть снизу вверх на человека, который сидит рядом. Но я смотрела. И в этом взгляде было — благодарность? Растерянность?

— Спасибо, — сказала я. Тихо. Одним словом. Но он услышал в нём всё — или мне так казалось.

— Вась, всё в порядке, — он накрыл мою руку своей. Ладонь — тёплая, широкая, сухая. Я не убрала. Не в этот раз.

Дамир. От третьего лица.

Дамир мерил шагами кухню — от холодильника до окна, от окна до двери, от двери до холодильника. Восемь шагов туда, восемь обратно. Маршрут заключённого в камере, только камера — с мраморной столешницей и кофемашиной за восемьдесят тысяч.

Василиса не ответила. Ни на одно сообщение. Ни на одно голосовое.

Сутки. Уже прошли целые сутки.

И главное — главное, от чего сводило скулы и темнело в глазах, — ночь. Когда Тимка заснул, они остались вдвоём. В чужом доме, в чужой стране, за закрытой дверью. И Астахов — голубоглазый, широкоплечий Астахов, у которого всё всегда было легко, красиво, как в кино, — конечно, он не стал ждать.

Фантазия подбрасывала картинки — яркие, детальные, садистски подробные. Её руки на его плечах. Его губы на её шее. Тот тихий стон, который Дамир знал наизусть, — только теперь этот стон принадлежал другому.

Он ударил кулаком по столешнице. Мрамор — холодный, равнодушный — отозвался тупой болью в костяшках. Боль помогла. На секунду.

Ну что она — вот так, в первую ночь, сразу? Хотя — какая первая ночь. Там ведь было то, до. Тогда, на вечеринке. Фотографии, которые Дамиру прислали, — и от которых он достал ремень. Может, между ними уже тогда всё произошло, а может, не произошло, но захотелось — а разница?

Астахов умеет. Это Дамир знал. Красавчик. Сука. Из тех, кто говорит правильные слова правильным голосом в правильный момент. Из тех, от кого женщины теряют голову, потому что он смотрит — и в этом взгляде весь мир сужается до неё одной.

А Дамир — Дамир не смотрел так. Дамир смотрел по-другому. Дамир контролировал, проверял, держал. И этого было достаточно — восемь лет было достаточно. А потом — перестало.

Он сел. Обхватил голову руками. Выдохнул.

Где-то глубоко, в том месте, куда Дамир старался не заглядывать, — в том подвале собственной души, где хранились вещи, не подлежащие инвентаризации, — он уже знал. Она с ним. И будет с ним. Потому что Дамир сам, своими руками, ремнём, голосом, контролем —

вытолкнул её. Не к Кириллу. Просто — от себя. А Кирилл оказался рядом. Подставил руки. Поймал.

Но знать — одно. А принять — другое.

Он поставил мысленную галочку: Астахов трахнул мою жену. Всё. Выдохнул. Забыл. Конечно, не забыл, — но отложил, убрал на дальнюю полку памяти, за коробки с «разберусь потом» и «не сейчас». Так делают мужчины, которые привыкли управлять — сначала решение, потом эмоции. Сначала действие — потом боль.

Вопрос тот же: вернуть Василису. Не дать подать на развод. Не дать никому заметить.

Пока для всех — ничего не произошло. Пока для всех — она его жена, мать его сына, часть его картинки. Кто знает, что она сбежала? Никто. Только Василий Петрович, который знает всё и всегда.

Телефон зазвонил.

Глава 14.

Дамир. От третьего лица.

— Дамир, — голос Василия был густой, тягучий, как мёд, в который уронили каплю яда.
— Ну как ты, переспал хоть?

Дамир не переспал. Дамир лежал на кровати, одетый, поверх покрывала и смотрел в потолок, пока тот не начал плыть. Потолок был белый, чистый, дорогой — штукатурка под шёлк, никаких трещин, никаких зацепок для взгляда, который ищет хоть что-нибудь, за что можно удержаться.

— Слушаю, — выдал он. Горло свело, как перед рвотой — сухое, спёртое, с привкусом вчерашнего коньяка, который не помог.

— Недалеко они, — сказал Василий тем скучающим тоном, которым сообщают что-то, стоившее чужих денег и чужих нервов — но не своих. — Пробил телефон Астахова. По твоей жене не стал, — меньше людей знает, что она с ним, — спокойнее. Правда?

— Конечно, — подтвердил Дамир. И пока говорил, подумал — холодно, деловито, отдельной частью мозга, которая всегда работала, даже когда остальные отказывали: а почему у него самого до сих пор нет таких возможностей? Пробить телефон за границей, за пару часов, одним звонком. Надо исправить. Обязательно. И дружить с Василием Петровичем — не потому что нравится, а потому что выгодно, активно, преданно, как дружат с теми, кто может гораздо больше.

— Домик недалеко от Хельсинки, — Василий выдал информацию, как бросают козырь — небрежно, на стол, лицом вниз.

— Я выеду сейчас, — Дамир уже встал. Тело действовало раньше мыслей — подхвати-лось, разогнулось, руки сами нашли пиджак на спинке кресла. Ключи. Где ключи. — Адрес есть?

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА

— Стой, — голос Василия стал чуть жёстче. Не приказ — но и не просьба. Тот тон, от которого у людей складывается условный рефлекс останавливаться, — как у собаки на «нельзя». — Подожди. Ну вот как ты это видишь? Приедешь — будет сцена. Перед сыном. Тебе это надо?

Дамир замер. Ключи нашлись в кармане — он сжал их в кулаке, металл врезался в ладонь.

— Она сейчас, скорее всего, говорит ему, что папа занят, — продолжил Василий, и в его голосе проступила та снисходительная мудрость, которая одновременно бесила и успокаивала — как таблетка, которую невозможно проглотить без воды. — Что-то в этом роде. Не ломай эту картинку. Пока картинка цела — ты в выигрыше.

Дамир стиснул зубы. Василий был прав. Прав той раздражающей, отполированной правотой, которая не оставляет места для возражений, — как гранитная стена, которую не объедешь. Там, на вечеринке, Астахов бросился за этой девчонкой — Алиной. А здесь — другие ставки. Здесь — Василиса, и Тимка, и всё, что они значат для его мира. Не мира вообще — его. Того, который он строил, кирпич за кирпичом, сделка за сделкой, и никому не позволял трогать.

А если Астахов её уже уложил — так тем более. Скандал ничего не исправит. Только подтвердит то, чего Дамир боялся больше всего: что он проиграл. Не деньги, не контракт — проиграл как мужчина.

— Лучше приезжай ко мне, — предложил Василий. Мягко. Почти ласково. Как предлагают водку человеку, которого только что оглушило. — Обсудим кое-что.

— Да. Сейчас приеду, — послушно, как верный паж, согласился Дамир. И сам себя за это возненавидел — за эту послушность, за этот тон, за то, как быстро он превращается в мальчика на побегушках, когда звонит хозяин города. За то, что «конечно» слетает раньше, чем успеваешь подумать.

Но поехал.

Василий умел. Поддеть за живое, сыграть на слабости, манипулировать — точно, ювелирно, как хирург работает скальпелем, только не лечил, а вскрывал. И Дамир это знал. И всё равно шёл — каждый раз, послушно, с готовностью, с той жадностью, которая сильнее гордости, потому что гордость не пробивает телефоны за границей за пару часов.

А Дамир — Дамир планировал выудить у него каналы. Способы. Тех людей, которые за пару часов пробивают телефон за границей. Это ему ещё пригодится. Однозначно.

Он сел в машину, повернул ключ. Двигатель ожил — ровно, мощно, послушно, без капризов, без настроения, без своего мнения о происходящем. И Дамир подумал: хотя бы машина слушается. Хотя бы что-то в этом мире ещё под контролем.

* * *

Василиса.

Мы поехали, как и предложил Кирилл, — сначала завтракать. Плотно, неторопливо, никуда не спеша. Он заказал много — с видом человека, для которого завтрак без яичницы, тостов и свежавыжатого сока просто не считается. Тима ел сосредоточенно и молча, со всей серьёзностью, которую шестилетний человек вкладывает в важные дела. Я пила кофе, ела немного — желудок не принимал больше, — и думала: а может, у него всегда так? Вся жизнь — вот так: встал поздно, выпил кофе, потом куда-то поехал. Или не поехал. Никакой срочности. Никаких сорока миллионов под подписью. Просто — живёт.

Я вспомнила то утро. Злополучное, как его теперь иначе назвать. Он тогда упорно предлагал мне завтрак и кофе — настойчиво, с улыбкой, как радушный хозяин. В его мире тогда ничего особенного не случилось: мелкая месть конкуренту, щелчок по носу. Обычное утро. А мой мир перевернулся — медленно, со скрипом, как тяжёлая баржа, которую течение разворачивает поперёк реки.

— Кирилл, всё в порядке, тебе надо на работу? — спросила я. На всякий случай. Потому что я не знала его жизни. Не знала, что там осталось — дела, обязательства, люди, которые ждут.

— Ну... батя без меня справляется, — вздохнул он. — Да там есть кому поработать.

Добавил это с кривоватой усмешкой. За ней было много всего — я чувствовала, но не стала распутывать. Обида на отца. Что-то давнее, незаживающее. То, что не проговаривают — просто носят в себе, как занозу: и вытащить больно, и оставить — тоже.

Может, он просто объективен? Потому что Кирилл так и остался тем веселым студентом — вечеринки, девушки, лёгкость. А бизнес требует другого. Другой породы.

— У тебя никого нет? — задала я логичный вопрос. Если бы кто-то был — позвонил бы уже. Предупредил. Отчитался, как минимум.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.